**Банка**

Рэй Брэдбери

Самая обычная банка с маловразумительной диковинкой, какие сплошь и рядом встречаются в балаганчиках бродячего цирка, установленных на окраине маленького сонного городка. Белесое нечто, парящее в сгущенной спиртовой атмосфере, вечно погруженное то ли в сон, то ли в какие-то свои мысли, вечно описывающее медленные круги. Безжизненные, широко раскрытые глаза, вечно глядящие на тебя, никогда тебя не замечающие... И аккомпанемент: вечерняя тишина, нарушаемая только стрекотанием сверчков да вздохами лягушек, доносящимися с заболоченного луга. Самая обычная банка, а в ней то, что заставляет желудок подпрыгнуть к самому горлу, почище чем вид человеческой руки, покачивающейся в бледно-желтом формалине лабораторной кюветы.

Оно глядело на Чарли. Чарли глядел на него. Долго.

Очень долго. Его большие, мозолистые, волосатые на запястьях руки намертво вцепились в веревку, отделявшую экспонат от ротозеев. Он честно заплатил монетку в десять центов и теперь смотрел.

Приближалась ночь. Карусель засыпала на ходу, быстрый, веселый перестук сменился вымученным, словно из-под палки, позвякиванием. Временные рабочие, пришедшие уже снимать балаганчик, играли в покер, курили и негромко чертыхались. Мигнули и погасли наружные лампы, цирк погрузился в полутьму позднего летнего вечера; зрители потянулись домой. Громко заорало и тут же стихло радио; теперь ничто не нарушало безмолвия необъятного, в мириадах звезд луизианского неба.

Для Чарли мир сузился до размеров банки, где покачивалось белесое нечто. Челюсть Чарли отвисла, бесхитростно выставив на показ влажную розовую полоску языка и зубы; в широко раскрытых глазах светились удивление и восторг.

В темноте обозначилась смутная фигура, совсем маленькая рядом с мосластой долговязостью Чарли.

— О, — сказал человечек, выходя на свет голой, одинокой лампы, освещавшей балаган. — Ты что, друг, так все тут и стоишь?

— Ага, — откликнулся Чарли, словно с трудом выплывая из пучины сна.

Такой страстный интерес не мог не произвести впечатления.

— Эта штука, — хозяин цирка кивнул на банку, — она всем нравится... в общем, в каком-то смысле.

Чарли неуверенно потрогал свой длинный костлявый подбородок.

— А вы... ну, значит... вы никогда не думали насчет ее продать?

Глаза циркача широко распахнулись, снова сощурились.

— Ни в жизнь, — фыркнул он. — Приманка для посетителей. Они любят посмотреть на что-нибудь этакое. Точно любят.

— А-а... — разочарованно протянул Чарли.

— С другой стороны, если подумать, — продолжил хозяин цирка, — если у человека есть деньги, то вообще говоря...

— Сколько денег?

— Ну, если у человека найдется... — Хозяин цирка начал разгибать пальцы, зорко поглядывая на Чарли. — Если у человека найдется три, четыре... ну, скажем, семь или восемь...

Видя, что Чарли встречает каждую новую цифру кивком, хозяин цирка решил поднять цену.

— ...ну, может, десять долларов, или там пятнадцать...

Чарли нахмурился.

— ...а в общем-то, если у человека найдется двенадцать долларов... — пошел на попятную хозяин цирка.

Чарли радостно ухмыльнулся.

— ...тогда, пожалуй, он мог бы и купить эту штуку в банке.

— Надо же, — удивился Чарли, — у меня тут в кармане как раз двенадцать зеленых. И я вот думал, как зауважают меня в Уайльдеровской Лощине, если я возьму и привезу домой вот такую штуку вроде этой и поставлю на полку над столом. Ребята меня вообще зауважают, вот на что хошь можно спорить.

— Ну так, значит... — прервал его мечты хозяин цирка.

По завершении сделки банка была водружена на заднее сиденье фургона. При виде покупки, сделанной хозяином, конь жалобно заржал и нервно затанцевал на месте.

На лице хозяина цирка читалось почти нескрываемое облегчение.

— Знаешь, — сказал он, глядя на Чарли снизу вверх, — а ведь хорошо, что я загнал тебе эту хреновину. Так что ты и не благодари, не надо. Я вот на нее все смотрел, а последнее время какие-то у меня про нее мысли появились, странные мысли... Да ладно, и что у меня за привычка такая дурацкая трепать языком больше, чем надо! Пока, фермер.

Чарли тронул поводья. Голые синеватые лампочки померкли и исчезли, как умирающие звезды; на фургон, и на коня, и на дорогу навалилась темная луизианская ночь. В мире не было ничего, кроме Чарли, коня, глухо и размеренно постукивающего копытами, и сверчков.

И банки, стоящей позади высокого переднего сиденья.

Банка качалась вперед-назад, вперед-назад и негромко говорила: плех-плех, плех-плех... И холодное серое нечто сонно билось о стекло и выглядывало наружу, выглядывало наружу и ничего не видело, ничего не видело.

Чарли повернулся назад, с гордостью, почти нежно похлопал по крышке банки. Его рука вернулась холодная и преображенная, полная возбужденной дрожи и странного, незнакомого запаха. «Да-а, ребята! — думал он. — Да-а, ребята».

Плех, плех, плех...

В Лощине, перед единственным ее магазином, мужчины сидели и стояли, негромко переговаривались и сплевывали в пыльном свете зеленых и кроваво-красных фонарей.

Знакомое поскрипывание сказало им, что едет Чарли; ни одна тяжелая, угловатая, с волосами, как пакля, голова не повернулась на остановившийся фургон. Красными светлячками тлели сигары, лягушачьим бормотанием звучали голоса.

— Привет, Клем! Привет, Милт!- наклонился с высокого сиденья Чарли.

— Привет, Чарли. Привет, Чарли. — Тусклое, невнятное бормотание. Политический конфликт продолжается. Чарли разрубил его по шву:

— У меня тут есть одна вещь. Такая вещь, что вы, может, захотите посмотреть.

На крыльце магазина зеленью поблескивали глаза Тома Кармоди. Сколько помнил Чарли, Том Кармоди вечно устраивался либо под каким-нибудь навесом, в тени, либо в тени деревьев, а если в комнате — то в самом дальнем углу, и всегда из темноты на тебя поблескивали его глаза. Ты никогда не знаешь, какое выражение у него на лице, а глаза его всегда вроде как над тобой смеются. И сколько раз ни посмотрят на тебя глаза Тома Кармоди, каждый раз они смеются над тобой каким-то новым, способом.

— У тебя, красавчик, нет ничего такого, на что нам захотелось бы посмотреть.

Чарли сжал кулак, осмотрел его со всех сторон и только затем продолжил:

— Такая штука в банке. Выглядит вроде как похоже на мозг, и вроде как похоже на маринованную медузу, и вроде как похоже... Да вы сами посмотрите!

Вспыхнул водопад розовых искр — один из фермеров притушил сигару и лениво направился к фургону. Чарли великодушно снял с банки крышку; лицо фермера, освещенное неверным светом фонаря, изменилось.

— Слышь, а правда, что за хрень такая?..

Это было начало оттепели. За первым фермером последовали и остальные; они неохотно поднимались и шли, повинуясь непреодолимому тяготению. Ни один из них не делал никаких усилий — разве что выставлял вперед то одну, то другую ногу, чтобы не шлепнуться удивленным лицом о землю. Вокруг банки собралось плотное кольцо людей, после чего Чарли — впервые в своей жизни — прибегнул к чему-то вроде стратегии и вернул стеклянную крышку на место.

— Хотите посмотреть еще — заходите ко мне домой, — щедро предложил он. — Там она и будет.

— Ха! — презрительно сплюнул с крыльца Том Кармоди.

— Слышь, — забеспокоился Дед Медноув, — дай я еще взгляну! Так это что, восьминог?

Чарли тряхнул поводьями, конь нехотя ожил.

— Заходите, милости просим!

— А что скажет твоя жена?

— А она нас метлой не погонит?

Но фургон уже исчез за холмом. Фермеры стояли, всматривались в темную ночную дорогу и говорили, говорили... Том Кармоди, так и не покидавший крыльца, негромко выругался.

Чарли поднялся по ступенькам своей халупы, прошел в гостиную и водрузил банку на предназначенный ей трон. Теперь эта унылая комнатушка станет дворцом, в ней будет император — да, лучшего слова и не придумаешь! — император, белый и холодный, бесстрастно покачивающийся в своем личном бассейне, император, возведенный на полку, приколоченную над кособоким дощатым столом.

И прямо сейчас, прямо на глазах у Чарли, банка выжгла холодный туман, набежавший с недалекого болота.

— Что это ты там притащил?

Высокий голос жены вывел Чарли из благоговейного экстаза. Теди стояла в дверях спальни: узкое тело обтянуто вылинявшим голубым ситцем, волосы стянуты на затылке в бесформенный узел, красные уши чуть оттопырены. Ее глаза напоминали вылинявший ситец.

— Ну так что? — повторила она. — Что это такое?

— А вот ты сама, Теди, как ты думаешь, на что это похоже?

Теди шагнула вперед, не отрывая взгляда от банки; бесстыжим маятником качнулись ее бедра, чуть оскалились белые кошачьи зубы.

Мертвое белое нечто, парящее в жидкости.

Теди бросила тускло-голубой взгляд на Чарли, снова на банку, еще раз на Чарли, еще раз на банку — и резко повернулась.

— Оно... оно похоже... оно очень похоже на тебя, Чарли!

Хлопнула дверь спальни.

Содержимое банки не шелохнулось, только у Чарли, соскучившегося по жене, лихорадочно заколотилось сердце. Потом, позднее, когда сердце уже успокоилось, Чарли заговорил, обращаясь к висящему в банке предмету:

— Я пашу эту болотину, каждый год ноги до жопы снашиваю, а потом она хватает деньги и бежит из дома — навещает, видите ли, своих родственничков по девять недель кряду. Я не в силах ее удержать. Она и эти мужики, собирающиеся у магазина... они надо мной смеются. И я не могу ничего с этим сделать — ведь я не знаю, как ее удержать! Кой хрен, теперь я хотя бы попробую!

Философическое нечто, обитавшее в банке, воздержалось от советов и рекомендаций.

— Чарли?

Кто-то у входной двери.

Чарли удивленно повернулся — и тут же расплылся довольной ухмылкой.

Они, мужики от магазина.

— Вот, значит... мы... мы, Чарли, мы тут подумали... ну, значит... мы пришли посмотреть на эту... эту штуку... которая у тебя в этой самой банке...

Вслед за жарким июлем пришел август.

Впервые за многие годы Чарли узнал, что такое счастье, он ликовал, как кукуруза, пошедшая в рост с первыми после засухи дождями. Каким блаженством были привычные вечерние звуки: приближающийся шорох сапог в высокой траве, затем небольшая заминка — гости вежливо отплевывались в канаву, затем скрип крыльца под тяжелыми ногами, жалобный стон косяка, на который навалилось очередное плечо, и наконец очередной голос:

— Можно мне зайти?

(Но сперва волосатое запястье аккуратно вытрет губы.)

— Заходите все, сколько вас там, — с деланным безразличием приглашает Чарли.

Стульев, ящиков из-под мыла, в конце концов половиков, чтобы сидеть на корточках, хватит на всех. К тому времени когда сверчки ногами выскребут из своих надкрылий ровное летнее гудение, а лягушки раздуют шеи и, как зобатые бабы, воплями огласят великую ночь, комната под завязку заполнится людьми со всех низинных земель.

Говорить они начнут не скоро. Первые полчаса такого вечера, пока народ собирался и рассаживался, проходили за тщательным изготовлением самокруток. Аккуратно раскладывая табак по полоске бумаги, заклеивая сигарету языком, осторожно перекатывая ее в ладонях, они раскладывали и перекатывали мысли свои, и страхи, и удивление, готовясь к вечеру. Самокрутки дарили им время подумать. Руки фермеров работали, придавая форму бумажным трубочкам с табаком, но еще больше работали их мозги, придававшие форму мыслям.

Это было нечто вроде примитивной церковной службы. Люди сидели на стульях, и сидели на корточках, и стояли, прислонившись к оштукатуренным стенам, и мало-помалу все они начинали благоговейно взирать на полку с банкой.

Нет, они не выпяливались на банку сразу, как какие-нибудь там зеваки, все происходило неспешно, словно бы само собой, словно они так, от нечего делать, осматривали комнату, отпускали свои глаза в свободное плавание, позволяли им бесцельно перебирать все находящиеся здесь предметы.

А потом — по чистой, конечно же, случайности — в фокусе их рассеянного внимания неизбежно оказывалось одно и то же место, один и тот же предмет. Через некоторое время здесь сойдутся взгляды всех в комнате глаз, как иголки, воткнутые в невероятную игольницу. И не останется никаких звуков, только разве что попыхивание чьей-то, из кукурузного початка вырезанной, трубки. Или шлепанье босых детских ног по дощатому крыльцу. А тогда, возможно, вмешается голос какой-нибудь из женщин: «Вы бы, ребята, бежали отсюда! Ну-ка!» И смех, похожий на негромкий звон ручья, и вот уже босые ноги мчатся распугивать лягушек.

Чарли — само собой! — будет на самом виду. В кресле-качалке, подложив под тощий свой зад ковровую подушечку, медленно покачиваясь, блаженно купаясь во всеобщем почтении, пришедшем вместе с банкой.

Ну а Теди — Теди мы найдем в дальнем конце комнаты, вместе с тесной кучкой женщин, серых и тихих, как мышки, терпеливо выносящих мужские причуды.

Теди словно готова в любую секунду взорваться, но она ничего не говорит, молчит и только смотрит, как мужчины стадом на водопой тянутся в ее гостиную и садятся у ног Чарли, и глазеют на эту штуку, вроде как на Святой Грааль, смотрит, и лицо у нее ледяное, и губы сжаты в ниточку, и она никому не говорит даже самого простого вежливого слова.

После подобающего периода молчания кто-нибудь — ну, скажем. Дед Медноув или Крик-Роуд — откашляет из глубинных своих глубин мокроту, подастся вперед, возможно, смочит кончиком языка губы, и в мозолистых пальцах будет необычная для таких пальцев дрожь.

Словно пение камертона, настроит эта дрожь всех присутствующих к разговору. Уши насторожены. Люди расположились уютно и непринужденно, как свиньи в теплой июльской луже.

Дед смотрел на банку, смотрел долго, затем снова обежал свои губы быстрым, ящерковым языком, откинулся назад и сказал — как всегда — писклявым стариковским тенором:

— И вот что же, все-таки, это такое? Вот, скажем, он это? Или она? Или вообще просто оно? Я вот, бывает, просыпаюсь ночью, ворочаюсь-ворочаюсь на матрасе из кукурузных кочерыжек и все думаю, как эта вот банка стоит тут, в ночной темноте. Думаю об этой штуке, как висит она в своем рассоле, бледная и спокойная, ну прямо твоя устрица. Иногда я разбужу мать, и тогда мы вместе о ней думаем...

Руки деда плясали в зыбкой пантомиме, все молча смотрели, как свивают невидимую нить толстые, с толстыми, грубо обкромсанными ногтями большие пальцы, как мерно колышутся остальные восемь, похожие на черные, скрюченные обрубки.

— ...лежим с ней и думаем. И дрожим. И пусть душная ночь, и деревья потеют, и от жары даже москиты не летают, а мы все равно дрожим и ворочаемся с боку на бок, пытаясь уснуть...

Дед опять погрузился в молчание, словно говоря: я сказал вполне достаточно, и пусть теперь кто-нибудь другой выразит свое удивление, и свое благоговение, и свой страх.

Джук Мармер из Ивовой Трясины отер пот с ладоней о колени и тихо начал;

— Я вот помню, как был сопливым мальчишкой, и у нас была эта кошка, всю дорогу рожавшая котят. Господи Иисусе, да ей хватало раз смыться за ограду, и вот тебе, пожалуйста — подарочек... — Джук говорил вроде как благостно, мягко и доброжелательно. — Ну и мы что, мы раздавали котят, только к тому времени, как она в тот раз окотилась, у каждого из соседей, которые поближе, до которых можно дойти пешком, был уже наш котенок, а у кого и два.

Тогда мама вынесла на заднее крыльцо большую двухгаллонную стеклянную банку, до краев наполненную водой. «Джук, — сказала мама, — утопи котят!» Вот как сейчас помню, стою я там, а котята пищат и бегают, тычутся во все стороны, маленькие, слепые, беспомощные, и хуже всего, не совсем даже слепые, а чуть-чуть начинают открывать глаза. Посмотрел я на маму и сказал: «Нет, мама, только не я! Ты лучше сама!» А мама вся побледнела и говорит, что это нужно сделать, а никого другого не попросишь, только меня. И она ушла на кухню, делать соус и жарить курицу. Ну, я... я взял одного... одного котенка. Подержал его в ладони. Он был теплый. А потом он пискнул, и мне захотелось убежать куда угодно, чтобы только никогда не возвращаться.

Джук размеренно кивал головой; вспыхнувшими, помолодевшими глазами он смотрел в прошлое, воссоздавал прошлое в словах, языком придавал ему форму.

— Я уронил котенка в воду. Котенок закрыл глаза и открыл рот, пытаясь вздохнуть. Вот как сейчас помню: показались маленькие белые зубы, высунулся розовый язык, а вместе с ним выскочили пузырьки воздуха, такая ниточка до самой поверхности воды!

До сегодня помню и никогда не забуду, как этот котенок плавал в воде потом, когда все было кончено, медленно покачивался и ни о чем больше не тревожился, и смотрел на меня и не осуждал меня за то, что я сделал. Но он и не любил меня, нет, совсем не любил. А-а-а, да что там!..

Сердца бешено колотились. Глаза испуганно перебегали с Джука вверх, на полку с банкой, снова на Джука, снова вверх...

И долгое молчание.

Джаду, черный человек с Цаплиной Топи, закатил глаза — сумеречный жонглер, вскинувший слоновой кости шары. Темные пальцы сгибались и перекрещивались, как ножки огромных кузнечиков.

— Вы знаете, что это такое? Вы знаете, знаете? А я вам скажу. Это — центр жизни, и ничто другое! Точно, тут и сомневаться не в чем, Господь мне свидетель!

С болота прилетевший ветер раскачивал его, как тростинку — ветер, ни для кого, кроме самого Джаду, невидимый и неслышимый, неощутимый. Его глаза описали полный круг, словно получив свободу двигаться по собственному желанию. Его голос, как сверкающая иголка с черной ниткой, подхватывал слушателей за мочки ушей, сшивал в единый затаивший дыхание орнамент.

— Из нее, лежавшей в Срединной Хляби, выползли когда-то все твари. Они делали себе руки и ноги, делали себе рога и языки, и они росли. Сперва, может, совсем крохотульная амеба. Потом — лягушка с надутой, словно сейчас лопнет, шеей. Да, да! — Джаду хрустнул суставами пальцев. — А потом она поднялась на задние лапы и стала... стала человеком! Это — центр творения! Срединная Мама, из которой все мы вышли десять тысяч лет назад! Верьте мне, верьте!

— Десять тысяч лет! — прошептала Бабушка Гвоздика.

— Она очень старая! Вы только на нее гляньте! Она ни о чем больше не тревожится. Зачем ей? Она все знает. Она плавает, как свиная отбивная — в жиру. У нее есть глаза, чтобы видеть, но она не моргает глазами, ее глаза не бегают, не дергаются. А зачем ей? Она все знает. Она знает, что все мы вышли из нее, что все мы в нее вернемся.

— Какие у нее глаза?

— Серые.

— Нет, зеленые!

— А волосы? Черные?

— Коричневатые!

— Рыжие!

— Нет, седые!

Затем неспешное свое мнение изложит Чарли. Иногда он скажет то же самое, что и всегда, иногда — что-нибудь другое. Не важно. Вечер за летним вечером рассказывай одну и ту же историю, и каждый раз она будет другой. Ее изменят сверчки. Ее изменят лягушки. Ее изменит нечто, глядящее из банки.

— А что, — сказал Чарли, — если какой старик ушел в болота, а может, и не старик совсем, а мальчишка, и он заблудился там, и шли годы, и он все не мог выбраться, и плутал ночами по всем этим тропинкам и канавам, топям и кочкам, и кожа его все бледнела, а сам он холодел и съеживался. В сырости и без солнца он так съеживался и съеживался, и стал совсем маленький, и упал потом в трясину, и так и остался лежать в болотной жиже, ну вроде как червяки или еще кто. И ведь как знать, может, это кто-нибудь всем нам знакомый, а если не всем, то хоть кому-нибудь из нас. Кто-нибудь, с кем мы перебрасывались словом. Как знать...

В дальнем конце комнаты — громкий судорожный вздох. Одна из стоящих в тени женщин мучительно подыскивает слова.

— Каждый год в это болото убегает уйма маленьких голеньких детишек. — Глаза миссис Тридден сверкают черным, антрацитовым блеском. — Они бегают там и бегают, и не возвращаются. Я и сама там раз чуть не заблудилась. Вот так я и лишилась своего сына, своего маленького Фоли.

Волна сдавленных вздохов, уголки плотно стиснутых ртов напряженно опустились. Головы, шляпки подсолнухов, повернулись на толстых стеблях шей, все глаза вглядываются в ее ужас и в ее надежду. Миссис Тридден, натянутая, как струна, цепляется за стену скрюченными, судорогой сведенными пальцами.

— Мой маленький, — хрипло выдохнула она. — Мой маленький. Мой Фоли. Фоли! Фоли, это ты? Фоли! Фоли, маленький, скажи мне, это ты?

Все повернулись к банке и затаили дыхание.

Вещь, смутно белевшая в банке, хранила молчание и только слепо взирала на людей, одна на многих. И где-то в глубине крепких, ширококостных тел пробилась тайная струйка страха, первый ручеек весенней оттепели, и вскоре их непоколебимое спокойствие, и вера, и покорное смирение были подточены и изъедены этой струйкой, и растаяли, и унеслись бурлящим потоком. Кто-то закричал:

— Оно пошевелилось!

— Да нет, ничего оно не шевелилось. Тебе просто мерещится.

— Да вот же ей-Бо!- воскликнул Джук. — Я видел, как оно повернулось, медленно так, совсем как мертвый котенок!

— Да тише ты, тише! Мертвая эта штука, давным-давно мертвая. Может, еще с того времени, когда тебя и на свете не было.

— Он подал мне знак! — взвизгнула миссис Тридден. — Это мой Фоли! Там, у тебя в банке, мой мальчик! Ему было три годика! Мой мальчик, пропавший в болоте!

Она затряслась от рыданий.

— Успокойтесь, миссис Тридден. Ну успокойтесь, успокойтесь. Садитесь, возьмите себя в руки. Это такой же ваш ребенок, как, скажем, мой. Ну не надо, не надо.

Одна из женщин обняла миссис Тридден за плечи, вскоре дрожь и всхлипы перешли в неровное, толчками, дыхание и быстрый, как крылья бабочки, трепет испуганных губ.

Когда все совсем стихло. Бабушка Гвоздика тронула увядший розовый цветок, воткнутый в седые, по плечи длиной волосы и начала говорить, не вынимая изо рта трубки, покачивая головой, так что волосы ее плясали в свете лампы.

— Все это болтовня, все это пустые слова. Скорее всего мы так и не узнаем никогда, что там такое в этой банке. Скорее всего если бы мы даже и узнали, то не хотели бы знать. Ну, вроде волшебства цирковых фокусников. Если узнаешь, в чем там жульничество, смотреть потом совсем не интересно, все равно как на кишки дохлой крысы. Мы тут все собираемся сюда раз в десять дней или что-то вроде, и мы разговариваем, вроде как светскую беседу ведем, и у нас всегда, всегда есть о чем поговорить. Узнай мы вдруг, что же это там за хреновина такая, очень может быть, нам и поговорить-то стало бы не о чем, так что вот так.

— Что она такое, эта хреновина? — пророкотал могучий голос. — Да она вообще ничто, вот же зуб даю, ничто!

Том Кармоди.

Как всегда. Том Кармоди стоял в тени — снаружи, на крыльце, и только глаза его смотрели в комнату, а губы, почти неразличимые в темноте, издевательски посмеивались, и неслышный этот смех пронзил Чарли, как жало осы. Теди, это Теди его настрополила. Теди пытается убить новую жизнь мужа, только о том и мечтает.

— Ничего, — повторил Кармоди, — в этой посудине нету, кроме слипшихся медуз, гнилых и вонючих.

— Послушай, братец Кармоди, — неспешно процедил Чарли, — а ты, часом, не завидуешь?

— Еще чего!- презрительно фыркнул Кармоди. — Я просто хотел посмотреть, как вы, болваны пустоголовые, по сотому разу пережевываете пустое место. Можешь заметить, что я в вашей болтовне не принимал никакого участия и даже ноги внутрь дома не поставил. А теперь я ухожу. Ну как, никто не составит мне компанию?

Желающих не нашлось. Кармоди расхохотался — ну как тут не расхохочешься, если столько людей посходило с ума; а Теди стояла в дальнем углу и сжимала кулачки — так что ногти впивались в ладони. Чарли увидел, как подергиваются ее губы, и весь похолодел, и не мог ничего сказать.

Смеясь во все горло, Кармоди простучал по крыльцу высокими каблуками сапог, и стрекот сверчков унес его прочь.

Беззубые десны Бабушки Гвоздики крепко сжали трубку.

— Как я уже говорила, в тот раз, перед грозой: эта самая, на полке, штука — почему она не может быть ну вроде как всем сразу? Уймой самых разных вещей. Всеми видами жизни — и смерти — и еще чего угодно. Смешайте дождь и солнце, и грязь, и все вместе: траву, и змей, и детей, и туман, и долгие дни и ночи дохлой гадюки. Ну почему это должна быть одна вещь? Может, это — уйма?

Тихая беседа текла еще целый час, и тогда Теди ускользнула в ночь, по следам Тома Кармоди, и Чарли покрылся потом. Что-то они задумали, эти двое. Что-то нехорошее. Горячий пот лился с Чарли не переставая.

Гости разошлись поздно, Чарли лег в постель с противоречивыми чувствами. Вечер прошел отлично, только как вот насчет Теди и Тома?

Время шло и шло. Судя по рисунку небосвода, по звездам, спрятавшимся за край земли, было уже за полночь, и только тогда Чарли услышал шорох высокой травы, раздвигаемой небрежным маятником бедер. Негромко простучали каблуки — по крыльцу, в гостиную, в спальню.

Теди бесшумно легла в постель; Чарли ощущал на себе пристальный, как прикосновение, взгляд ее кошачьих глаз.

— Чарли?

Чарли помедлил.

А потом сказал:

— Я не сплю.

Теперь помедлила Теди.

— Чарли?

— Что?

— Вот спорим, ты не знаешь, где я была, спорим, ты не знаешь, где я была! — Негромкий насмешливый напев в ночи.

Чарли молчал.

Молчала и Теди, но не долго, слова рвались у нее с языка.

— Я была в Кейп-Сити, в цирке. Меня отвез Том Кармоди. Мы... мы говорили с хозяином, мы говорили, Чарли, мы правда говорили.

Теди едва слышно хихикнула.

Чарли похолодел. И приподнялся, опираясь на локоть.

— И мы узнали, что в той банке, мы узнали, что в той банке... — детской дразнилкой пропела Теди.

Чарли резко отвернулся, зажал уши руками.

— Я не хочу ничего слышать!

— Не хочешь, Чарли, а придется, — злое змеиное шипение. — Это ж чистый анекдот. История, Чарли, просто прелесть.

— Уходи, — сказал Чарли.

— Не-а! Нет, Чарли, нетушки. Не уйду я, драгоценный ты мой — не уйду, пока не расскажу.

— Вали отсюда!

— Подожди, дай я расскажу тебе все по порядку. Мы поговорили с этим самым хозяином цирка, и он... он чуть не лопнул от хохота. Говорит, что продал эту банку со всем ее содержимым одному... одному сельскому лоху за двенадцать зеленых. А она вся вместе и двух не стоит.

В темноте изо рта Теди расцвел черный цветок жуткого смеха.

Торопливо, захлебываясь, она закончила свой рассказ:

— Ведь все это, Чарли, самый обычный хлам. Резина, папье-маше, шелк, хлопок, борная кислота! И все, и больше ничего! А внутри — проволочный каркас. Вот и все, что там есть, Чарли! — Резкий, уши царапающий визг. — Вот и все!

— Нет, нет!

Чарли сел как подброшенный, с треском разорвал простыню пополам.

— Я не хочу слушать! — ревел он. — Я не хочу слушать!

— То ли будет, когда все ребята узнают, какая грошовая подделка мокнет в твоей знаменитой банке! Вот уж они посмеются, прямо кататься со смеху будут!

— Ты... — Чарли схватил ее за запястья, — ...ты хочешь им рассказать?

— Боишься, Чарли, что мне не поверят? Что посчитают меня за врушу?

— Ну почему ты не можешь оставить меня в покое? — Он яростно отшвырнул Теди. — Мелкая пакостница! Тебе ничто никогда не нравится, ты завидуешь всему, что бы я ни сделал. Этой банкой я немного поприжал тебе хвост, так ты и спать не могла, все придумывала, как бы мне нагадить!

— Ладно, — рассмеялась Теди, — никому я ничего не скажу.

— Не скажу! — с ненавистью повторил Чарли. — Главное ты уже сделала: испоганила все для меня. Теперь не так-то уж и важно, расскажешь ты кому еще или не расскажешь. Мне ты уже рассказала, и вся моя радость на этом кончилась. А все ты и Том Кармоди. Мне так хотелось стереть с его лица эту проклятую ухмылочку. Он ведь сколько уже лет надо мной смеется! Ну иди, рассказывай что хочешь и кому хочешь — мне все равно, а так хоть ты удовольствие получишь!..

Чарли яростно шагнул, сорвал с полки банку, размахнулся, чтобы швырнуть ее об пол, но тут же замер и осторожно, дрожащими руками поставил свою драгоценность на длинный стол. И начал всхлипывать. С утратой банки он утратит весь мир. И Теди — Теди он тоже терял. С каждой неделей, с каждым месяцем она ускользала все дальше, она издевалась над ним, поднимала его на смех. Сколько уже лет Чарли сверял время своей жизни по маятнику ее бедер. Но ведь и другие мужчины — Том, к примеру, Кармоди — сверяли свое время по тому же эталону.

Теди стояла в ожидании, когда же Чарли расшибет банку, однако тот только ласково гладил холодное прозрачное стекло и мало-помалу успокаивался. Банка заслуживала благодарности — ну, хотя бы за долгие вечера, щедрые вечера, полные друзей, и тепла, и разговоров, свободно гулявших из конца в конец гостиной...

Чарли медленно повернулся. Да, Теди потеряна, потеряна безвозвратно.

— Теди, ты же не ходила в цирк.

— Именно что ходила.

— Ты врешь, — покачал головой Чарли.

— Именно что не вру.

— В этой... в этой банке должно быть что-нибудь. Что-нибудь кроме хлама, о котором ты говорила. Слишком уж многие люди верят, что в ней что-то есть. Теди. Ты не можешь этого изменить. Хозяин цирка, если ты и вправду с ним говорила... он соврал. — Чарли глубоко вздохнул и добавил: — Иди сюда, Теди.

— Что ты там еще придумал? — подозрительно сощурилась Теди.

— Подойди ко мне. — Чарли шагнул вперед. — Иди сюда.

— Не трогай меня, Чарли.

— Теди, я же просто хочу показать тебе одну вещь. — Голос Чарли звучал тихо, спокойно и настойчиво. — Ну кисонька. Ну кисонька, кисонька, котеночек ты мой маленький... котеночек!

Прошла неделя. Снова наступил вечер. Первыми пришли Дед Медноув и Бабушка Гвоздика, за ними — Джук, миссис Тридден и Джаду, цветной человек. Дальше потянулись и все остальные — молодые и старые, благодушные и озлобленные, и все они рассаживались по стульям и ящикам, и у каждого были свои мысли, и надежды, и страхи, и вопросы. И все они негромко здоровались с Чарли, и никто не смотрел на святилище.

Они ждали, пока придут и другие, пока соберутся все. По блеску их глаз можно было понять, что каждый видит в банке что-то свое, не такое, как остальные — что-то касающееся жизни, и бледной жизни после жизни, и жизни в смерти, и смерти в жизни, и у каждого была своя история, свой мотив, свои реплики — старые, хорошо знакомые, но все равно новые.

Чарли сидел отдельно ото всех.

— Привет, Чарли. — Кто-то заглянул в раскрытую дверь спальни. — Твоя жена, она что, снова гостит у родителей?

— Ага, смылась в Теннесси. Вернется через пару недель. Только и знает, что бегать из дому... Да будто вы ее не знаете?

— Да уж, непоседливая тебе жена досталась, это точно.

Негромкие разговоры, скрип поудобнее устанавливаемых стульев, а затем, совсем неожиданно, стук каблуков и глаза, сверкающие из полутьмы крыльца — Том Кармоди.

Том Кармоди стоял, не переступая порога, его ноги подламывались и дрожали, руки висели плетьми и тоже дрожали, и он заглядывал в гостиную. Том Кармоди боялся войти. Том Кармоди не улыбался. На влажных, безвольно обвисших губах приоткрытого рта — ни тени улыбки. Ни тени улыбки на белом как мел лице, лице человека, давно и опасно больного.

Дед взглянул на банку, прокашлялся и сказал:

— Странно, я как-то не замечал этого раньше. У него голубые глаза.

— Оно всегда имело голубые глаза, — пожала плечами Бабушка Гвоздика.

— Нет, — проскрипел Дед, — ничего подобного. Последний раз они были карие. И еще...- Он снова взглянул на банку и моргнул. — У него же коричневые волосы. Раньше у него не было коричневых волос.

— Были, — вздохнула миссис Тридден. — Были.

— И ничего подобного!

— Были, были!

Том Кармоди, дрожащий во влажной духоте летнего вечера, Том Кармоди, заглядывающий в комнату, не отрывающий глаз от банки. Чарли небрежно на нее посматривающий, небрежно перекатывающий в ладонях самокрутку, переполненный мира и спокойствия, уверенный в своей жизни и в своих мыслях. Том Кармоди, один в полутьме крыльца, видящий в банке то, чего никогда не видел прежде. И все — видящие то, что они хотят видеть, мысли их — частый перестук дождя по крыше.

— Мой мальчик. Мой маленький мальчик, — думает миссис Тридден.

— Мозг! — думает Дед.

Пальцы цветного человека, мелькающие, как ножки кузнечика.

— Срединная Мама!

— Амеба!- поджал губы рыбак.

— Котенок! Котенок! Ну кисонька, кисонька, кисонька! — Мысли захлестывают Джука, выцарапывают ему глаза. — Кисонька!

— Все и вся! — скрипят усохшие и поблекшие мысли Бабушки. — Ночь, трясина, смерть, белесая нежить, влажные морские твари!

Тишина. А затем Дед шепчет:

— И вот что же все-таки это такое? Вот, скажем, он это? Или она? Или вообще просто оно?

Чарли удовлетворенно взглянул вверх, размял самокрутку, чтобы была чуть плоская и хорошо лежала во рту. И перевел глаза на дверь, на Тома Кармоди, который никогда уже больше не улыбнется.

— Сдается мне, никогда мы этого не узнаем. Да, сдается, что не узнаем.

Он медленно покачал головой и повернулся к гостям, которые смотрели, и смотрели, и смотрели...

Самая обычная банка с маловразумительной диковинкой, какие сплошь и рядом встречаются в балаганчиках бродячего цирка, установленных на окраине маленького сонного городка. Белесое нечто, парящее в сгущенной спиртовой атмосфере, вечно погруженное в то ли сон, то ли какие-то свои мысли, вечно описывающее медленные круги. Безжизненные, широко раскрытые глаза, вечно глядящие на тебя, никогда тебя не замечающие...